

Василия Шукшина не надо представлять публике. Обилие талантов едва ли не повредило ему: великолепный актер, первоклассный кинорежиссер и отличный писатель, он начинал на разных поприщах с такою быстрою удачей, что внутреннюю глубину все время приходилось различать сквозь легкий блеск успеха. Сквозь этот блеск шло у Шукшина глубинное содержание, а оно было нелегким, непростым и спорным. Так и повелось: в публике — вечный успех, в критике — вечный спор о Шукшине. Одним оппонентам он кажется народным деятелем — хранителем традиций, для других — консерватором-деревенщиком. Но каковы бы ни были переклесты в этом споре, он касается темы всеобщей важной: народного характера.

Новая книга Шукшина позволяет прояснить истинный предмет спора. Шукшин действительно народный писатель в старинном смысле слова. Но все дело в том, как понимать слово. Есть в народе быт и есть бытие. Сельский быт, конечно, можно противопоставить быту городскому, как вещь вещи. Но бытие знает и другие категории; в характеристике народа решает нравственный пафос: это иная плоскость, и именно здесь Шукшин-писатель оказывается самим собой.

Собственно говоря, он не стилист. И не живописатель. Он типичный рассказчик, знаток случаев, баешник. Стилль его письма неровен, и, кажется, стилль не заботит его сам по себе. Там же, где изредка он решает написать «литературно», — там появляются в его рассказах пламенеющие лучи, светлые слезы, раскрывшиеся дали и прочие бантики. Сюжеты тоже мало заботят Шукшина с точки зрения рациональной литературной техники: то и дело он рассказывает нам случаи, не имеющие прямого выхода, эпизоды, сведенные на нет, описанные вроде бы просто так, не ведущие к ясному разрешению. Я говорю о слабостях, потому что они суть продолжение достоинств или, если хотите, ключ к пониманию достоинств. Периферия творчества, область отходоу и неудач у Шукшина не случайно выявляется «байками»; бывальщиной; тут есть какая-то закономерность: у писателя обостренно интеллектуального, у аналитика — необязательность узнается по выпренности и чрезмерности стилия, по особому волевому нажиму, по усилению «отношения», которое должно скомпенсировать недостаток «материала», у писателя же эмоционально-целостного и тяготеющего к синтезу неудача узна-

ется, наоборот, по ослабленности сюжетно-волевого начала, по чрезмерности материала, идущего как бы самотеком, по своеобразному перевесу бытия над сознанием. Есть, к счастью, и случай третьего типа, когда перед нами абсолютная художественность. Но сейчас мы говорим о слабостях Шукшина. В шукшинских баечках, ни к чему не ведущих и ничего не разрешающих, угадывается, конечно, явный перевес бытия: переклест богатства, озорная трата лишней силы, нерациональная щедрость.

Откуда эта немерянная сила, эта неаккуратно плещущая через край размашистая щедрость, эта нерасщепленная цельность души? Ответ прост и сложен: из деревни. От земли. От почвы.

Из этого внешнего признака и исходит схема, которую вот уже лет пять некоторые оппоненты примеряют к Шукшину: за добродушной маской — недоверие ко «всему городскому», недоверие, порожденное тайной завистью к «соблазнам». В общем не любит «все городское»!

Да или нет?

Самое глупое в данном случае — играть в прятки. Я и не собираюсь изображать Шукшина апологетом города. По той существенной причине, что это неважно. Не «наоборот», а именно неважно. Разумеется, это правда, что и по судьбе, и по симпатиям Шукшин — человек деревенского склада. Это правда, что все деды у него тоскуют по детям, разлетевшимся в города. Это правда, что город для него полон гибельных «соблазнов». Но почему это должно быть иначе, если такова реальность его судьбы? Это ни хорошо, ни плохо, это — так, и все! Если пол-России живет в деревне и если действительно дети сельских жителей едут в города, то требовать, чтобы старики не тосковали по ним и чтобы в литературе не было этих настроений на том основании, что цивилизация вообще ценное дело, — странно по меньшей мере. Деревенскость — факт судьбы Шукшина, и это естественно, что он влюблен не в город, а в деревню, и естественно, что на его реальном духовном пути не деревня, а город возникает, как незнакомое и «чужое», — естественно, наконец, что человеку шукшинского склада есть что преодолеть в себе на пути из деревни в мир. Как нормально и другое: что человек, родившийся и выросший в городе, должен однажды в первый раз в жизни встретиться с деревней. Так вот тут-то и надобно различать реальную ситуацию и моральный результат. Вот противоположный случай: у одного молодого писателя я недавно прочел поразительный рассказ — очерк характера темной, озлобившейся в городской толчее деревенской бабки, у которой доброе во-

обще из души выгорело. Интонация и здесь неоднозначна: в рассказе есть следы застарелого страха перед деревенской «темнотой», и я понимаю, почему: потому что этот писатель — человек совершенно городской по душевному опыту. Без этого чувства и всей правды не было бы, но и это чувство — не вся правда, ибо в какой-то момент в злобной старухе все-таки чувствует и он ту далекую, ни в чем не виноватую деревенскую девочку, которая могла бы быть другой. Прорыв сквозь локальную оболочку, выход в нравственную сферу, где уже неважно, откуда человек, а важно, человек ли, — вот что делает настоящим рассказом горожанина.

Вот точно такой же прорыв в нравственную сферу делает настоящим и творчество Василия Шукшина! Надо только читать в его рассказах эту главную тему. Можно, например, прочитать в рассказе «Змеиный яд» только то, что деревенский парень, убежавший по аптекам, крикнул городу: «Я вас всех ненавижу, гадов!» А можно в этом рассказе увидеть и другое, истинное его содержание: человек, ожидающий личного внимания от людей, наталкивается на скользкое безличное огромное количество этих спешащих мимо людей и кричит их безличию: «Не ненавижу!» — а потом, едва один из них отзывается по-человечески, он же, только что ненавидевший, плачет от благодарности. Что это, город против деревни? Нет, извините, это личность против безличия.

Кстати, количественный перевес городских «соблазнов» над сельской «чистотой» тоже не так уж бесспорен у Шукшина (хотя, по совести говоря, количественный перевес равным счетом ничего тут не решает). Но все-таки посмотрите, кого Шукшин любит и кого не любит. Не любит городских хлюстов. Не любит и хлюстов деревенских. Уголовник ли, или тихонький пенсионер, наглый ли снабженец или деревенский завлукбон, городской ли прихлебатель или провинциальный мелкий прохиндей, но всегда прохиндей, всегда прихлебатель, всегда считающий верхушек. Отрицательные у Шукшина — либо беззаботны, либо заботятся, как бы прожить полегче. Они живут навывлет, вовне. Они ушлые, трепачи, балаболки. Они полные — у них нет достоинства. Так ведь это и есть то, ради чего все пишется, главная тема Шукшина — достоинство личности. И в городе, и в деревне. А уж если давать социологический адрес, — то не «городских» ненавидит Шукшин, а псевдогородских, недоговорских. И псевдодеревенских тоже! Тех, которые бегут туда-сю-

да, ища, где полегче. Тех, которые, как говорится, норовят положить в общий котел меньше, чем берут оттуда.

Мне несколько лет назад пришлось в прессе спорить с одним критиком, который упрекал героев Шукшина в недостаточной, так сказать, «интеллигентности». Упрек этот, как видно, сделан в отношении Шукшина ходким. Разберемся, однако, что есть «интеллигентность». Умение носить шляпу? Умение гладко говорить? Умение напаялиг культурную личину? Как хорошо сказано у Шукшина в одной из его статей: да, интеллигентность, но лишь такая, какая знает, что и она — не самоцель. Как и «деревенскость» — не самоцель. Самоцель лишь одна — личность.

Личность против личины — вот проблема проблем для Шукшина. Теперь задумаемся, откуда и почему в этой цельной и здоровой натуре возникает такое раздумье? Откуда страх личины? Откуда постоянное ожидание ее? В его героях нет, конечно, ни обостренной рефлексии, ни суеты, в них вообще нет нетерпеливого желания все выяснить побыстрее. Они не спешат, они словно чувствуют, что столкновение между ними будет мало похоже на звонкие картинные оплеухи театральных мальчиков, — если уж шукшинские люди схлестнутся, то насмерть. Поэтому, как правило, напряжение у Шукшина не разряжается активно, а прячется внутрь, едва показавшись, его мужики часто расходятся, как линкоры бортами, не решившись пустить в ход убийственное оружие. Отсюда — столь частая у Шукшина внешняя нейтральность сюжетов, которые можно было бы считать облегченными, если бы не это тающееся внутри беспокойство. Здесь нет экспрессии, внешней броскости. Здесь другое бытие. Здесь нет ни чувства одиночества, ни чувства страха. Автопортрет шукшинского состояния: не страшно, не одиноко, но... «очень не спокойно». «Не спокойно» от того, что вдруг ощутила эта цельная сила, что есть над ней «что-то», что выше, прекрасней и сильнее ее самой, — нравственная красота. «Что-то другое», стоящее за гранью привычного, — лейтмотив Шукшина. «А дальше что, дальше?» — ищут у него люди. «Смысл?» — вглядывается эта жизнь сама в себя. Отсюда — заплотные шукшинские старики, отсюда — его «чудики», срывающиеся с пантильку, его кряжистые парни, озорующие от внезапного ощущения вакуума в душе. Шукшин одержим идеей, что за все воздается. Он одержим идеей смысла жизни и венца усилий.

Тревога В. Шукшина — это

тревога силы, которая обеспокоена совестью. Силы, которая ощутила в себе разные начала, сталкивающиеся и непримиримые: благородство и цинизм. В одном из рассказов книги охотник встречается в тайге беглого уголовника и отдает ему ружье, поверив, что в том заговорила совесть. И получает пулю в спину. Гибель — нечастое у Шукшина разрешение сюжета. Но даже если бы не прозвучал этот выстрел, столкновение позиции здесь страшной последующего убийства. Сидя в таежной избушке, старик Никитич и беглый уголовник спорят о том, может ли добро одолеть силу.

— Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

— За што?

— За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он добренький был... Паскуда!..

— Не поганься! — строго сказал Никитич... — Я не поп, и тут тебе не церковь, чтобы злобой своей харкать... — Нету на земле святых!..

Старик, видно, отвык уже от таких слов. Святые, добренький... Старик и не спорит дальше, вернее, он спорит действительным. Он не боится вора и не умаливает его. Он его жалеет. Он делает добро злому, потому что уверен, что и в его противнике должна быть совесть. И он получает пулю. Да, не в стиле Шукшина доводить дело до такого конца. Потому что такой конец чересчур просто разряжает мучающую Шукшина дилемму. Убил в спину! Что же теперь, остервениться? Бить, наконец, всех «по морде»? Или «не надо было верить»? Вариант вполне возможный и даже рациональный: стрелять первым. Шукшин делает другое: он ставит памятник добру. Все равно надо было верить! Потому что добро не может обмениваться себя на зло, даже если зло и навязывает такой обмен. Обмен злобы на злобу, «скандал», как сказал один критик, упрекнувший Шукшина в бесконфликтности, — вполне исчерпан бы ту породу околотеиелей, которую так ненавидит Шукшин. Увидел что-то по себе — хватай, рви зубами! Увидел что-то не по себе, — бей, скандал, рви глотку! Для Шукшина это не жизнь, а кошунство.

В. Шукшин ищет в человеке начало нравственное. Он знает в народе не столько деревенский старый быт, каковой теперь часто идет в иных «народнопоклоннических» статьях чуть ли не за главный признак будущего. Повторяю: есть в народе быт и есть бытие. Шукшин ищет бытие. Он знает в народе то начало добра и великодушия, в котором совмещаются все начала и концы.